

Ксения Драгунская

Странноприимный огород Амор Каритас

Фрагмент романа «Туда нельзя»

На взлетной полосе очередь, в небе толкотня и пробки, любознательные девушки спешат в Занзибар...

Лучшие умы человечества летят повидаться, поговорить, как победить страшные болезни, ненависть, нищету, сохранить планету, дать всем работу...

И переводчики, нагладив белые рубашки, устраиваются в тесных кабинах, пьют воду, пробуют микрофон, отверзают свои усталые уста...

И музыканты тоже летят, ведь музыка должна украшать мир, умягчать сердца и примирять всех со всеми.

Пассажир вышел из самолета, пробил паспорт, и вот он уже не пассажир, а гость, интурист, чужестранец, командировочный, гастролер...

Терминал огромный, новехонький... Все такое большое, а народу мало.

Так, первым делом — в сортир.

Ух ты... Направо мужицкий, налево бабский, а посередине — общий холл с тучей рукомойников и зеркалами от пола до потолка.

Выходит, мужики и бабы должны вместе начепуриваться и прохаркиваться?

Европа.

Страна, известная своими демократическими традициями.

Тихо играла задумчивая музыка, кругом зеркала, и пожилая индианка в бирюзовом сари не спеша расчесывала длинные волосы, во всех зеркалах отражаясь.

Это было странно, как будто не жизнь, а какой-то фильм.

Бывший пассажир вошел в мужскую уборную и остановился резко, чемоданчик больно стукнул колесами сзади по башмакам.

Там была пеленальная комната.

Это в смысле, что мужик может один с младенцем? Путешествовать? Перепеленать, если что. Ну, счас не пеленает никто, памперс, там, то-сё... Мужик один может с

Ксения Драгунская родилась и выросла в Москве. Драматург и прозаик. Автор нескольких книг прозы и множества пьес, переведенных на множество языков и поставленных во множестве театров России, ближнего и дальнего зарубежья.

Предыдущая публикация в «ДН» — пьеса «Дождись дождя» (2019, № 8).

младенцем. А мать где? Так, ладно... Открыл дверь — просторно и чисто, столик, раковина, навалом влажных салфеток, пахнет чистотой и так... Пахнет как бы в смысле, что все нормально, спокойно, что мужик с младенцем долетят, доберутся куда надо... Хорошая какая пеленальная комната...

То, что много лет старался забыть, что выжигал из памяти — алкоголем, сексом, работой, — оказалось живехонько и так больно заколотилось теперь внутри, где-то там, посередке, что прижал ладонь к горлу, прислонился к прохладной стене... Негритос в аэропортовской спецовке заглянул в лицо: «Ар ю окей?» — «Сэнк ю, мерси». Чуть не забыл, зачем пришел.

Мыл руки в огромном холле. Играла красивая задумчивая музыка, как в грустном фильме с хорошим концом. Индианка все еще расчесывалась. Вспомнил, что индийцы — вроде цыган, а уж индианки и подавно. Чуть не спросил: «Бабушка, погадай, может, что хорошее скажешь?» Их отражения встретились взглядами в огромном зеркале, и она ласково улыбнулась, кивнула, прикрыв фиолетовые глаза.

«Все будет хорошо, надо потерпеть...»

Потерпеть... Всю жизнь уже не прожил, а протерпел...

Нарисовался шустрик Ризя, Резниченко, старшой в группе. «Ты че такой? С лицом чего? Укачало? Давай поблуждай и не тормози, уже звонили, автобус ждет...»

И пока автобус, груженный прилетевшими музыкантами, крутился под эстакадами arrival /departure, он все оглядывался на сияющее в светлых весенних сумерках здание терминала.

Пеленальная комната. В мужской уборной.

— Наташа. Наташа. Наташа. Не ори. Не ори. Не ори. Ты орать звонишь? Дай мне сказать. Короче. Прилетаем в Парижик. Всё чики-пыки. Идем устриц поесть, как люди.

А к сифудам положено белое сухое вино, чтобы не было белкового отравления. Сухенькое. И все. Полетел наш голубь. Профилактику от белкового отравления проводить. Уже без всяких устриц. Вот я как знал... Мне еще на прилете в сортире его рожа не понравилась... В самолете нормальный был, а после сортира — как с катушек съехал. Каштаны подбирал с мостовой — они, видите ли, красивые... Чуть под машину не попал... А когда городовые подошли, кричал: «Вив любеффь!» Там пацан какой-то на мосту, нелегал из Румынии, попрошайка со щенком, так он и щенка целовал, и пацана, по сто евро им в шляпу кидал... Жуть кромешная...

На второй день нас уже стало напрягать. На третий мы тебе позвонили, помнишь? Помнишь? Ты же отклоняла. Потом эсэмэс кинула. Ты эсэмэс свой помнишь? «Не лезьте ко мне, чикайтесь сами». На пятый день нам улетать, а на руках тело. Труп. Знаешь, все хорошие, когда трезвые и далеко. А рядом и в запое уже как-то не очень. Угу... Не знаю. Неинтересно. Ну что, в самолет его тащить в невменозе полном, позориться? Взяли тело, переместили по дешевке в китайский квартал в гостишку, кредитки, паспорт, мобильный в сейфе заперли... Очухается же когда-нибудь, переломается. Ну, в крайнем случае — нет. Там хорошее русское кладбище. Вот не надо, а? Предательство — это когда звонки отклоняют. Да, Наташ, да. И когда своих коллег и родину позорят, тоже, кстати. Что ему дома не бухается? По месту постоянной регистрации?

Не ори. Дай мне сказать. Все улетели, а я с ним остался. Врача русского нашел, с капельницей, в гостишку вызывал. Сраму натерпелся, денег потратил... Ты же даже не позвонила ни разу...

Я уже оттуда через знакомых нарыл бабу одну, у нее в деревне, в глуши, какое-то частное ЛТП. Передержка. Ну, как приют собачий, но вместо псов — мужики. Реабилитационный центр для мужчин в кризисной ситуации. Дотасил как-то до Москвы и туда отвез. К бабе. Он там. Ну, мало ли... Нет, бесплатно. Может, там

хозяйство, пашут на бабу эту, а может, бордель. Гы-гы-гы... Не ищи, не найдешь. Вот если он сам захочет, он тебе позвонит. Все. Все, ладно? Я кровь сдал. Мне эта командировочка до остатних дней сниться будет... Все, пробка поехала, пробка поехала, давай, пока-пока, целую-скупаю-пробка поехала-пока-пока-целую-целую-отбой...

Ой, блин, как заколебали вы все, друзьятки...

В просторной, чистой и пустой избе — три окна, непокрытый деревянный стол и большая плазма. За столом друг напротив друга сидят Собеседник (облезлый, вылинявший, истерзанный запоем человек, тот что в аэропорту в пеленальную комнату заглядывал) и Собеседница — женщина неопределенного возраста в тюбетеечке и стеганой куртке, похожей на ватник. На пустом столе — глиняная миска огурцов. Оба едят огурцы. Женщина так и хрустит, один за одним, человек жует не спеша.

— Хорошо, — говорит женщина. — Что вы любите, я поняла. Это здорово. Я тоже многое люблю из того, что и вы. Теперь расскажите, что вы ненавидите, что может вас выбесить. Вот прямо чтобы — «бесишь, сука».

— Выбесить? Да многое. Долго говорить. Не люблю, когда на часах без тринадцати минут два. Вот как увижу тринадцать часов сорок семь минут — за себя не отвечаю. Тяжелое нести не люблю, конечно. Посуду мыть. Не люблю, что мужчина по определению всем должен. Ханжей терпеть не могу. И чванливых тоже. Знаете, кто с тобой в одной общаге макароны жрал, а теперь не здороваётся, потому что у тебя автомобиль не той марки... Не люблю, если у кого фамилия на Ко. Мне от них один гемор... Порожняк какой-то мучительный.... Почему вы смеетесь? Вы не на Ко, случайно?

— Я на Че. Смеюсь, потому что мне кажется, мы подружимся... А у вас-то откуда такая чудная фамилия?

— Не знаю... (Ему ужасно надоело, что все прикапываются к его фамилии. Сейчас-то еще ничего, а в детстве и юности — вообще беда.) — Не знаю. Может, кто-то из моих предков с какой-то царевной набедокурил, а может, так... Царевны какой-то пес, или конь, или шут гороховый...

— Хорошо, — кивнула она.

— Хорошо?

— Конечно. Теперь я задам вам три вопроса. Если вы не можете или не хотите отвечать на все три, выберите один и ответьте. Только честно. Что могло бы вас исцелить? Что для вас больше всего? И ради чего или кого вы готовы на все?

Долгая пауза. Человек смотрел на ватник своей собеседницы. Моргал глазами. То казалось, что это простецкий ватник, то вдруг — что дорогушая вещь, из тонкого материала, с едва различимым вышитым узором, а на узоре огурцы и лягушки. Еще поморгал глазами. Да ладно, какие огурцы, какие узоры — обыкновенная стеганая куртка, почти ватник.

— Ручка есть? — спросил человек. — Листок?

— Нету. Я же не записываю, просто разговариваем.

— Что, прямо в целом доме нет листка бумаги?

— Зачем мне, я и так все помню.

Собеседник оглядел избу. Стол и миска с огурцами, а по стенам — плазма и карты — Народной Республики Болгария, транспорта Манхэттена, Москвы 1913 года, атлас грибов Российской Федерации. Еще график какой-то, от руки.

— Странно. Такая культурная изба, а ни карандаша, ни листочка.

— Да тоже мне, проблема, — она взялась за мобильник. — Сейчас нам всё принесут.

— Не надо.

— Почему?

— Потому что, пока будут нести, я уже передумаю.

— То есть? Этот ответ на вопрос перестанет быть актуальным, пока несут бумагу и карандаш? Или вы передумаете отвечать вообще?

— Блль... Блин. Извините.

— Ничего страшного.

Пауза.

— Ладонь давайте. Что? Боитесь, по запястью полосну и дёру? Не полосну. Нечем...

— Да нате ладонь, тоже мне, напугали...

Она протянула через стол руку, и пальцем у нее на ладони он написал слово. Она поняла. Быстро и пристально, цепко поглядели друг на друга, но он опустил глаза, спрятал, она еще смотрела на его серое, измученное пьянкой лицо, на редущие каштановые с проседью волосы.

— Это правда?

— В смысле?

— Вы не можете даже произнести это слово вслух? ТАК болит?

— Сука, бешишь!

Тут же осекся и съезжился, провел ладонью по лицу сверху вниз, сказал тихо:

— Извините.

— Ничего, — она смотрела на него грустно. — Все хорошо.

— Что хорошо-то?

— Вы приняты. Сейчас вас проводят в вашу избу. Познакомят с соседями. Выдадут сапоги и ватник.

В избе, куда привели, было натоплено и вкусно пахло щами. Толстый дядька в линялой ковбойке протянул руку:

— Белогнутов Андрей Михайлович, дежурный по вашей светлости. А ты Царевнин, знаю уж. Ну и фамилия... Счас суп есть будешь.

От глиняной миски пахло изумительно, да и есть уже захотелось — несколько дней ничего не ел, пока «болел», потом отходил от «болезни».

А как прихватиться? Руки гуляли капитально — ни ложку до рта донести, ни миску взять, чтобы вылебать.

— Смотри-ка, что делается! — кивнул за окно Белогнутов.

Царевнин повернулся к окошку. Ничего особенного не происходило, у ворот пришвартовалась машина «рено» типа «дастер», вышла полная немолодая блондинка, накрашенная густо.

Про себя Царевнин тут же прозвал ее «Гастроном».

— Ты ешь, а я на подмогу, — сказал Белогнутов, надевая ватник. — Ешь, говорю, приду — проверю!

Царевнин осмотрелся — поди, камер повешано... А и хрен бы с ним... Наклонился и вылебал, вылакал щи, как барбос, зубами подцепляя куски мяса. В животе стало тепло и на душе чуть получше.

Царевнин посмотрел в окошко.

Там показывали немое драматическое кино — Гастроном, активно и сердито жестикулируя, наступала на мелкого, тщедушного, но очень прямого паренька, стриженного прической «каре». Паренек пятился, но ничего не говорил — держался прямо и молчал. Аршин проглотил и воды в рот набрал, одновременно. Гастроном ругалась, наверное, матом, а из открытого «рено-дастер» громко радовали слух песни Стаса Михайлова. Подошел толстяк Белогнутов, спрятал мелкого паренька себе за спину и стал что-то говорить Гастроному, отчего златозубая дама и вовсе осатанела и принялась махать кулаками у широкого, щекасто-очкастого лица Белогнутова. В машине Стас Михайлов сменился Таней Булановой. Подошел очень высокий

белесый малый и долгой рукой с огромной ладонью обнял и Белогнутова, и мелкого. Царевнину понравилось, что мужики так стоят друг за друга. Они поорали немного, и Гастроном села в машину, яростно шарахнула дверью и увезла прочь жалобные плачи Тани Булановой. Осанистый паренек со стрижкой «каре» повернулся по-другому, и Царевнин увидел его немолодое потрепанное лицо.

Вернулся довольный Белогнутов:

— За Июнькиным жена приезжала. Творческая интеллигенция — котов сдает для киносъемок или там если реклама. Вспомнила про мужика, когда говно кошачье выгребать некому стало... Не отдали!... Да ты все съел! Ну что за парень-молодец! — обрадовался Белогнутов, как добрая няня в детском саду, Царевнину даже показалось, что он его сейчас по голове погладит. — А Июнькин-то какой крепкий — не забоялся бабищи своей, так мол и так, никуда не поеду.

— А он кто?

— Божий одуванчик. Судьба у него была трудная, а теперь здесь. Навсегда. Он в озеро наше влюбленный, не разлучится... Сам тебе про все расскажет, если подружитесь. Ладно. Ложись кочумай. Тебе теперь первое дело — спать. Отхожее место за домом слева, а на крайняк ведро в сених имеется. Так что спи на здоровье.

— Я не могу спать, — неожиданно для самого себя признался Царевнин. — Боюсь.

— Это что вдруг? Чужие здесь не ходят, а наши мужики хорошие, скоро познакомишься.

— Боюсь, меня бесы уташат, — признался Царевнин.

Это была правда. Однажды ночью, когда не мог уснуть, стонал, ворочался, пытался молиться и давал страшные зароки, из мучительной полудремы явились какие-то отвратительные рожи то железные, то шерстяные, и говорили — ты наш, всё, ты наш, ты Богу не нужен...

— Придешь утром, а от меня одна одежда осталась. — Царевнину стало жалко себя.

— Это с какого переляку они тебя, дурака, уташат?

— На органы.

— Тю! — засмеялся Белогнутов. — На кой им твои органы, там, поди, от органов труха одна.

Царевнину стало обидно за свои органы и еще жалче себя. Чтобы не заплакать, он спросил:

— А как это озеро называется?

— По-всякому. Тут столько разных народов побывало, каждый по-своему звал... А еще береговая линия сильно изрезана, затонов, бухт много, каждому затону отдельное имя дадено. Так-то! А теперь спать. И руки чтоб поверх одеяла, — подмигнул.

«Цирк какой-то, — подумал Царевнин. — Спектакль».

Этот Белогнутов явно не такой валенок. А старается показаться валенком, потому что считает валенком его, Царевнина, ведь Царевнин тоже старается показаться простаком и алкашом из подворотни, для безопасности — чтобы никого не раздражать своими никчемными в этом месте знаниями и «московством». Царевнин знал, что чистый московский выговор и грамотность могут быть опасны для жизни.

Царевнин обрадовался — уже может раздумывать. Эта радость успокоила, она была сильнее тревоги, что кончились пилюли, которые доктор дал в дорогу.

Он легко заснул в тепле и спал хорошо, снилась чушь, но нестрашная — два милиционера, какие раньше были, в голубых фуражках и в форме, ныряют в озеро, ухая и фыркая, а на берегу, на чистой мягкой траве стоят дети и смеются, и большие меховые собаки тоже улыбаются, машут хвостами.

Утром умывался в сенях ледяной водой — понравилось. Пришел Белогнутов проводить на общую кухню. Царевнин пожал ему руку и сказал:

— Андрей Михайлович, я музыкант из Москвы, со мной на гастролях во Франции запой приключился, подвел я очень, и друзья меня сюда определили, в назидание.

— Починим! — заверил Белогнутов. — А я из Питера, преподаватель истории и географии. На пенсии, конечно.

— Вы мне скажите, пожалуйста, — это мы все где?

— В Огороде, — серьезно сказал педагог. — Это такой Огород.

«Где я?

Ризя! Ты куда меня засунул, Саша-Ума-Катя-Ася? Что это за богадельня? Какой-то, Боря-Лида-Яша-Дима-мягкий знак, санаторий, профилакторий общего режима. Песочница для мальчиков пятьдесят плюс.

Походу, я тут самый молодой. Детская площадка «Ветеран». Колхоз «Старый конь». Турбаза «Лузер». Дачный поселок «Неудачник». Огородная артель. Мужской бордель для одиноких баб Нечерноземья. Кстати, это вообще какая область? Никто не знает. То ли Тверская, то ли Смоленская, а то и вовсе — Псковская. По номерам машин не поймешь: то одно, то другое. Глухой угол.

Эта баба, что собеседование проводила, она кто? Врач? Психолог? Психологов ненавижу. Сестра-хозяйка? С ней как говорить вообще? Ты ей что про меня наплел? Она приезжает, привозит харчи и лекарства, если кому надо. Тут кухня-столовая есть в отдельной избе с большой террасой. Готовим по очереди, когда на печке, когда на плитке, и две микроволновки есть. Еще есть баня и «салон», или «штабной вагон» — пустая изба с большой плазмой. Правда, похоже на детсадовскую дачу, только на стене террасы объявление: «Просьба найденные в лесу боеприпасы на территорию не приносить». Самый запад, Ризя. Эти края всегда под раздачу попадали. Последние лет пятьсот. В болотах до сих пор самолеты лежат, ржавеют. Мины — эти просто как грибы. Интересные места, для тех, кто понимает. Ризя, вы меня надолго сюда определили? Нет, я не протестую, я просто спрашиваю. Вообще жить можно. Избушки наши разбросаны по пригоркам, рядом озеро большое, такой загогулиной, как звать, никто точно не знает, тут один чокнутый целыми днями на озере зависает, не рыбачит даже, а так... Дружит. Постояльцев сейчас человек десять, я пятерых уже знаю, вроде нормальные, и совсем не все алкаши. Работать не заставляют, только самим себя обслуживать, готовить, стирать, порядок поддерживать, ну и огород. По вечерам телевизор и настольные игры. Я тебе письмо пишу от руки, потом сфотографирую и при случае, как поднимусь в поселок, на станцию, тебе отправлю на мыло. Там интернет хороший, четыре джи прямо со свистом летает, и вообще — цивилизация, магазины, почта, сбербанк, аптека. Тут красиво и тихо. Чтобы пересидеть, очухаться — самое то. Вот я и пересажу, а там видно будет. Ты платил за меня много? Я верну. А передержка эта? За деньги? Верну все! Точно, передержка, только вместо собак — мужики. Прости, что так подвел на гастролях. Прости, друг. Наталье передай как-то аккуратно, что я к ней не вернусь и искать меня не надо. Ну давай. На днях отправлю это письмо. Ризя. Ты мне друг, скажи честно. Просрал я свою жизнь? В хлам просрал?

Или еще не совсем?»

Царевнин сфотографировал письмо.

Кончался март, пахло водой, оттаивающей землей, костром, слышалось, что где-то работает пилорама.

Постучавшись, заглянул Белогнутов, протянул два крепких яблока.

— Свои яблочки, наши. Храним грамотно, секрет старинный знаем... Ну что, пойдешь в штабную? Наши «мафию» затевают...

Довольно скоро Царевнин прекрасно освоился, или, как говорят про псов и котов, — «прижился», и жалел только, что не может репетировать, упражняться, инструмента нет. Беспокоить Ризю, гонять в такую даль — надо же и совесть иметь когда-то, и так попил уже Ризиной кровушки... Хорошо Июнькину, «ебанату кальция», как называет его мужлан Буйвидас, — уходит в луга, в поля и танцует, под свою внутреннюю музыку, хоть до упаду. Июнькин обожал танцевать, с детства прилипал к телевизору, когда передавали балет или народные танцы, ходил в хореографические кружки, а папа его, милицейское начальство в маленьком южном городке, считал, что мужик без погон — не мужик. Папа устроил сына служить в армию не куда попало, а во внутренние войска, зэков охранять. На этом почетном поприще с Июнькиным что-то произошло. «Из армии вернулся головушкой прискорбный. Не то побили, не то секретность какая, — рассказал про него Белогнутов. — А потом еще четыре женитьбы перенес. От этого тоже с головой лучше не становится...» После армии, ко всему прочему, Июнькин утратил способность к деторождению, хоть и сохранил пригодность для супружеской жизни. Это удачное сочетание, а также немногословная кротость, привлекали к нему, мелкому, как подросток, крупных, крикливых и властных тетя постарше.

Теперь Июнькин привязался к озеру, смотрел на него, сидел на берегу и что-то ему рассказывал, смеялся и купался с апреля по ноябрь, не простужаясь. А то уходил в луга и танцевал под свой внутренний тамтам.

Парники большие, даже мужлан Буйвидас, самый высокий в Огороде (подобранный хозяйкой на невольничьем рынке возле Мытищ), спокойно стоял во весь рост. Круглый год свежие огурцы, помидоры, перцы — поди плохо? Следили за чистотой и порядком на территории, за печками, дровами и колодцами. Жили мирно, только толстяк Белогнутов и пожилой ловелас Маркович не здоровались и не разговаривали друг с другом. Знойный, с седыми кудрями в синеву, Маркович измерял годы в женах. Никто почему-то не говорил ему, что выражение «три жены тому назад» придумал Воннегут и чтобы он не больно-то важничал.

А если и случались ссоры-споры среди постояльцев Огорода, то исключительно на микологические и ихтиологические темы: какая рыба как называется, какие грибы съедобны, а какие нет.

Ближе к лету в окрестностях появлялись копатели и монетки. Копатели искали в лесу боеприпасы и «поднимали» останки бойцов. Были официальные поисковые отряды и просто любители старого оружия. Монетки шерстили окрестности дачи помещика Алатовича, искали старинные монеты. Но копателям со стариной везло больше — говорили, что недавно был найден сборник Гёте 1914 года издания и немецкий солдатский медальон 1941-го. Наверное, какой-то отец благословил своего сына этим сборником с готическим шрифтом. В свободное от огорода и хозяйства время постояльцы присоединялись к копателям или монетчикам, рыбачили, мастерили или предавались своим увлечениям: опальный журналист Мухов обожал реанимировать старые радиоприемники и магнитофоны, а его сосед — контуженый спецназовец Генварёв — любил готовить. Два раза в неделю парились в бане. Иногда помаленьку выпивали, кому можно. За выпивкой или у костра беседовали, рассказывали, кто как ранился, резался или обжигался, кто откуда падал и как тонул, у кого какой чудила в армии был сержант, у кого какая сука теща... Кто как убежал на машине от гаишников, у кого какая машина в каком году как ломалась... Рассказывали анекдоты и небылицы. Когда анекдоты и небылицы кончались, просто хвастались, ввали или жаловались — про женщин. И всегда все разговоры — после бани, у ночного костра на берегу, на привале в лесу или разбирая старый автомобиль — все разговоры приводили к женщине, устроившей этот запоздалый мальчишеский рай с карасями, щенятами, кострами и поисками кладов. Кто она? Врач? Изучает их, что ли? Предприниматель? Скучающая богачка? Откуда у нее семь изб плюс штабная плюс кухня плюс баня? Это

же какое богатство! А красный «рэнглер-рубикон»? Неизвестно. Никто даже толком не знал, как ее зовут. Спецназовец гнал телегу, что она — потомок тех испанских детей, которых доброе советское правительство вывезло от фашистов, и что зовут ее по-испански Амор Каритас. Царевнин удивился, почему Белогнутов и журналист Мухов (эти-то двое наверняка знают) не объяснят остальным, что Амор Каритас — благотворительная организация или вообще экспонат в музее, образ, и человека так звать не могут.

И сам тоже не стал объяснять.

Всегда спокойная, приветливая, она всех называла «хорошие мои», неважно, обращалась ли ко всем или к кому-то одному. Говорила тихо, поэтому ее и старались услышать. Летом в льняной, расшитой васильками тюбетейке, осенью и зимой — в чем-то вроде хевсурской шапочки, в валенках или резиновых сапожках с хохломскими узорами, так, дачница за рулем красного «рэнглера-рубикона». Никто даже не знал, сколько ей лет. Решили — от сорока до шестидесяти. Бабы сейчас и не такое умеют. У них не поймешь. Примочки там всякие. А она вообще бойкая такая... Царевнину она казалась ровесницей, за сорок, да.

Рассказывали:

что она бросила умирающего старика-отца;

что она отказала жениху прямо в загсе, и он повесился;

что с ней не общается, за что-то обидевшись, единственный сын,

и вот она якобы хочет искупить вину всех баб перед всеми мужиками и устроила этот Огород.

Царевнин понимал, что это фольклор, устное народное творчество.

Следующим сегментом «огородного» фольклора были истории про первых постояльцев. Тут возникали разночтения — одни считали, что первым постояльцем был беглый монах Иероним Отродьев, другие — что немецкий дальнбойщик Фитцнер. «Иероним Отродьев — это уж слишком», — сразу решил Царевнин. Но и про Фитцнера тоже не очень понятно... Якобы немецкий дальнбойщик Фитцнер, боясь проезжать весовой пост на перегруженной фуре, свернул с трассы на грунтовку и прямо под знаком «Осторожно, дикие животные» сбил косулю. Опасаясь, что его «примут» егеря, инспектора или просто равнодушные граждане, Фитцнер не поленился выкопать и зашвырнуть в ближайшее болотце дорожный знак, а сам, тщательно заперев вверенное ему транспортное средство, груженное доверху заграничным дефицитом, взял на руки пораненную косулю и двинулся напролом через лес, надеясь встретить добрую русскую женщину, и не ошибся. По одной версии, Фитцнер и Амор Каритас вылечили и выпустили грациозное животное, по другой — зажарили и съели. Ну ведь пурга же, дивился Царевнин. Какой немец попрется по грунтовке объезжать пост весового контроля на трассе? Начнем с того, что нормальный немец и фуру перегружать не станет. Да и вообще — напролом, через леса и поля, прется лирический фриц с пораненной косулей... Картина маслом! Вот же ахинея, думал Царевнин, но не спорил.

Третьим сегментом уже не огородного, а окрестного фольклора был местночтимый святой с красивым именем Блаженный Пролетарий, но тут царила такая непролазная путаница, что Царевнин и не пытался вникнуть.

У Амор Каритас был дом в соседней деревне, за мысом, в другой бухте, и в Огород она навещалась в неделю раза два, узнать, как все поживают, не надо ли чего. В «штабной» избе на стене висел рукописный график, на котором Амор отмечала по пятибалльной системе «плачевность» постояльцев: внешний вид, настроение, коммуникабельность, связи с родными, планы на будущее.

У Царевнина в день прибытия были одни нули, но скоро исправились на твердые троечки. Привозила и гостинцы из города — сладости, зарядки для мобильных, лекарства. В райцентре на самой крутой улице Ленина у нее была мансарда. А кто там

еще жил с ней в этой мансарде — неизвестно. Некоторые пытались называть ее «матушка», но какая она им матушка, если кому ровесница, а кого и помладше? Пытались называть «сестра» — тоже что-то не то, по-церковному как-то, а она не из этих. Так что называли все-таки за глаза — Амор Каритас, как ни крути. А вслух — «уважаемая». На «вы».

Однажды играли в жмурки, бегали и ржали, как дети, она приехала, села в сторонке, грызла орешки, улыбалась невпопад, потом, не простившись, уехала...

За чаем после бани Маркович стал гундосить, что это оскорбило его мужское достоинство. Что мы, дескать, в жмурки, а женщина смотрит.

— Голышом? — спросил Белогнутов (он не играл), но не Марковича, а всех.

— Еще чего! — тут Маркович совсем обиделся.

— Одевшись, — объяснил мужлан Буйвидас.

— Тогда — в районный суд, — серьезно решил Белогнутов. — А если бы голышом — то в Гаагский.

Секунд пять молчали, а потом хохотали как безумные.

— Да может, она и не видела ничего, — подал голос Июнькин. — Смотрела вроде на нас, а видела что-то свое. У меня с ней так однажды было. Зашел в «штабную» спросить что-то, разговорились. Она смотрит так жалостно, будто все понимает, меня и понесло. Все ей вывалил. Что никогда никому, ни попу, ни маме, потому что — невозможно. Она кивает, кивает, а потом вдруг поморгала-поморгала и говорит: «Ой, извините, я прослушала, задумалась что-то».

— Это она нарочно так сказала. Чтобы, если ты потом пожалеешь, что рассказывал, чтобы ты не стеснялся, — объяснил Белогнутов.

— Играется в нас, как в куклы, — нахмурился опальный журналист Мухов.

— Всю бы жизнь в меня так игрались, — Июнькин улыбнулся, глядя кротко, как Соня Мармеладова.

Он был страдалец. Поговаривали, что бабы его не раз в карты проигрывали.

Царевнину хотелось называть Амор Каритас сестрой. Думал даже — вот была бы у меня такая сестра, жизнь бы по-другому сложилась. То есть вообще сложилась бы... Сестра... Но получалось по-монастырски как-то... Однажды заметил, как она посмотрела в спину парню, мастерящему новые ступеньки в деревянной церковке у озера. Коротко, бегло взглянула на худую, загорелую, в свежих комариных укусах спину... «Ничего себе... Сестры так не смотрят...»

И дал ей тайное, только для себя, имя.

Несестра.

Итак: Белогнутов, Буйвидас, Генварёв, соблазненный и покинутый Гриша-анестезиолог, Июнькин, Маркович, Мухов и Царевнин — обитатели Странноприимного Огорода Амор Каритас, и каждый обитатель достоин отдельного романа.

Иммерсивно-интерактивного спектакля-бродилки... Душераздирающего сериала...

Научного исследования...

Или сказки.

Белогнутов был хороший. Опекал вновь прибывших. А уж мужлан Буйвидас, забияка и матершинник, белобрысо-седой каланча, который тоже защищал Июнькина от жены, находился, как говорили в советские школьные годы, под положительным влиянием Белогнутова.

История появления мужлана Буйвидаса в Огороде — «кино и немцы». Рабочий крупного завода за Уралом, Буйвидас никогда не бывал в Москве, но каким-то невероятным образом оказался на вылете в Домодедово, где до помрачения рассудка

возмутился расценками на упаковку багажа. С криком: «Да ты, такой сякой, мать твою разэдак, хоть знаешь, какие у нас за Уралом получки?!» — Несчастный набросился с тумачами на парнишку-упаковщика. Крик, визг, скандал...

— Ты с какого дубу рухнул, хуепетало? — вежливо спросили его в аэропортовском отделении милиции. — Что ты к пацанам прикопался? Они, что ли, расценки устанавливают, тундра ты неогороженная? Не умеешь вести прилично, так нечего вылазить из своего Кислотищенска, еще залупаться тут.

У Буйвидаса в печенках сидел его скучный, нищий и некрасивый родной город, но если этот город обзывали чужие, а уж особенно ненавистные москвичи, его переключивало. Хорошо, полицейских трое было.

Намяли ему хорошенько бока и сказали в утешение:

— Радуйся, тундра, что не в Америке живешь. В Америке кто на полицейского попер — пулю в лоб без суда и следствия. В КПЗ тебя определить, или договоримся?

Буйвидасу удалось договориться.

Без денег и мобильного он пошел по шоссе куда глаза глядят и, увидав через поле церковь, свернул на боковую грунтовку, прибавил шаг.

Может, в церкви работу какую дадут или так, советом. Жене бы позвонить, чтобы с ума там не сходила... Ну, попал...

В церкви было пусто и темновато. За свечным ящиком копошилась бабуля. Буйвидас неумело перекрестился на какого-то святого и изложил бабуле свою беду, попросил мобильный, позвонить жене.

— Прямо и не знаю, — пригорюнилась бабуля, как будто для того чтобы дать человеку на три минуты мобильный, требовались какие-то особые знания. — Батюшка главу администрации с днем ангела поздравлять уехал, сперва официальное поздравление, потом банкет, сам понимаешь, быстро не будет... Голодный небось? А мы с тобой сейчас делом займемся. Кошек у нас на заднем дворе развелось, очень воняют, а матушка на восьмом месяце, токсикоз... Сейчас пойдем с тобой, я приманю, они меня знают, а ты их в мешок с камнями, я и мешок и камни-то приготовила уже, в мешок с камнями и задами-задами, чтоб никто не видал, на речку... А я тебя кашей накормлю.

Секунд тридцать Буйвидас переваривал это заманчивое предложение, глядя с высоты своего роста на голову в благочестивом белом платочке. Это в какой книжке, что в школе читать заставляли, пацан бабку топором по чайнику угостил?

— Да отвянь ты, короста, — сказал Буйвидас и пошел прочь.

Пересчитал оставшуюся в карманах мелочь и, когда ноги стали заплетаться от усталости, сел в маршрутку и через полчаса оказался в ненавистой и страшной Москве.

Позвонить никто не давал, хоть плачь. Буйвидас понимал, что в Москву стекается много шантрапы и жулья и люди привыкли бояться друг друга и не верить. И все равно обидно было.

В закоулках длинного подземного перехода услышал музыку — чудно! Пошел на звук. Женщина играла на скрипке, а некоторые прохожие клали деньги в раскрытый футляр, кто мелочь, а кто и бумажку. Музыка понравилась Буйвидасу, он стоял и слушал, задумав попросить у женщины позвонить — она наверняка добрая, злой человек не может играть такую красивую музыку, а то, что женщина хмурится, — так это от старания. Поди вот поиграй на скрипке, это только кажется, что легко! Дождался, когда женщина опустила скрипку и стала пить из термоса, и рассказал ей про свое жесткое попадалово. Женщина хмурилась. Достала мобильный. Долго в нем ковырялась, подняла глаза и сказала Буйвидасу адрес московского представительства его родной губернии.

— Иди туда, обязаны помочь.

Буйвидас принялся благодарить.

— Стольник возьми, — она кивнула на скрипкин футляр. — Два возьми.

«Хорошая какая, — думал Буйвидас, — верняк приезжая. Москвички такие не бывают».

Ступенечки, ведущие к двери представительства малой родины бедняги Буйвидаса, были средь бела дня огорожены решеткой, решетка заперта.

«Ё! — Буйвидас беспокоился о родной губернии. — Может, стряслось чего? Доигралось начальство? Упразднили, а то и слили с кем, для оптимизации?»

О приемных и неприятных часах он даже не подумал.

Хотелось есть, пить, присесть, умыться, в сортир... Все в Москве стоило денег. И очень хотелось позвонить домой.

Буйвидас присел на лавочку в сквере. Наискосок через сквер шагали два совсем молодых парня с упряжкой мелких собачонок, жевали на ходу и смеялись.

— Пацаны, дайте мобик, домой позвонить, — попросил Буйвидас.

Парни переглянулись, достали из бумажного пакета гамбургер, протянули Буйвидасу и удалились танцующей походкой.

«Пидоры ведь», — смотрел им вслед Буйвидас. Но гамбургер съел.

Буйвидас не знал, что не во всех церквях предлагают убивать кошек за тарелку каши. Не знал, что есть церкви, где и помогут, и накормят или просто скажут, где переночевать. Даже переговоров вести не надо — бывают церкви, где прямо в прихожей висят объявления «К сведению бездомных граждан». Ведь бездомный, как ни крути, тоже гражданин нашей большой и дружной страны.

Когда он задремал от усталости, из внутреннего кармана куртки вытащили паспорт...

Каюк...

Буйвидас проболтался в Москве трое суток и понял:

Здесь все боятся друг друга.

Никому ни до кого нет дела.

Половина уличных московских попрошайек — рабы, половина — мошенники. Случайному человеку, реально попавшему в беду, среди них не место — убьют. Или мошенники, или «смотрящие» при рабах.

В полицию обратиться — тоже тема. Знаем. Плавали.

Хоть топись или вешайся.

«Трое суток в Москве едва не стали для Буйвидаса полным трендецом», — наверное, именно так бы выразился какой-либо молодой автор из Буйвидасовых уральских земляков...

Амор Каритас подобрала Буйвидаса на невольничьем рынке возле Мытищ — увидела в толпе мужиков из Средней Азии высокого и белобрысого, выделявшегося, как выделяется потерявшийся породистый пес из всей бродячей стаи.

Амор съехала на обочину и окликнула его через окошко. Он подошел, заглянул, наклонившись.

— Что случилось? — спросила Амор.

— Уважаемая, дайте по мобильному домой позвонить, — произнес бедняга намозолившую язык фразу.

Потом он с изумлением вспоминал, что Амор включила аварийку, посадила его рядом с собой, дала телефон, но даже не заблокировала двери.

Буйвидас объяснял жене случившееся, стараясь не материться при чужой женщине, от этого получилось дольше, потому что приходилось подбирать слова, а Амор всё слышала. Выходило, что возвращение на родину в ближайшем будущем уральскому горемыке не светит. Когда он, шумно, протяжно вздохнув, протянул ей мобильный, Амор сказала:

— Могу отвезти вас в одно безопасное бесплатное место, перекантоваться, сколько надо. Подумайте.

Тут и думать было нечего.

— Вы по хозяйству умеете? — спросила она.

— Вроде не безрукий.

Она уже включила левый поворотник и смотрела налево, чтобы влиться в поток.

— Только сначала вам придется заехать вместе со мной в деревню под Переславлем, там у знакомых детей праздник.

Что за Переславль такой? Где это?

— Придется так придется, — с достоинством ответил он.

И поехали с ветерком — Амор открыла все окна в машине, Буйвидас понял, что воняет, мучительно стеснялся и молчал все полтора часа, что ехали до детского праздника.

Въехали в распахнутые ворота на участок с соснами и чистой травой. Топилась баня. В беседке накрывали стол с самоваром.

Тут и там мельтешили разновозрастные дети, некоторые, и пацаны и девочки, были на удивление красивы. Глаз не отвести. Большая бревенчатая изба со всех сторон оклеена, обвешана, окутана, украшена детскими рисунками.

— Сегодня праздник детского творчества, — объяснила Амор. — Его проводит мой большой друг, художник-кукольник, Николай. Это его дом. А вот и хозяин!

Буйвидас увидел хозяина и испугался — заразился, что ли, от гамбургера пидорского? Пятьдесят с лишним лет прожил на свете Буйвидас и никогда не обращал внимания на мужиков, вернее, не отличал красивого мужика от некрасивого. Пофиг было. А тут прямо обалдел, увидав хозяина в льняной латаной рубаше и тертых джинсах — богатырского телосложения, уж никак не меньше ростом, чем сам Буйвидас, смоляная борода начинается прямо от высоких скул, а глаза карие, теплые, смеющиеся и грустные одновременно.

— Здравствуй, светлая моя, ненаглядная, — хозяин поцеловал Амор в плечо, поручался, не задавая вопросов, с Буйвидасом, и стали втроем выгружать из багажника коробки со сладостями и фруктами.

Даже прожив безмятежно уже несколько месяцев на Огороде, Буйвидас вспоминал дни в деревне под Переславлем как счастливейшее время. Парился в бане, купался в мелкой быстрой речонке с чистым песчаным дном, разок сходил по грибы — полчаса, и ведро подосиновиков, помогал по хозяйству, сидел вместе со всеми за столом, слушал шутки и умные разговоры, которых большей частью не понимал, но было интересно. Гости у Николая не переводились, день и ночь топилась баня, жарились на мангале шашлыки, кипел самовар. Собирались и москвичи, и ярославские, и вологодские — эта деревня, полная художников, поэтов и ученых, была им вместо дачи. Кто бы сказал, что деревня может быть такая, ни за что не поверил бы! Николая тут называли просто Борода, а он всех выющихся вокруг женщин Манями или Дусиками, чтобы не запутаться в именах. И Амор тоже называл то Маней, то Дусиком, а то вдруг — Агафья Тихоновна, и все смеялись. Буйвидас понял, что это не настоящее имя, а погоняло, кличка, прозвище, но, наверное, не обидное, потому что Амор улыбалась в ответ. Гости уезжали и приезжали, спиртные напитки лились рекой, но никто не орал, не матерился, не лез драться, а бабы не закатывали пьяных истерик. Все были просто веселые. Какие-то другие люди, другая порода, не те, к каким Буйвидас привык. Даже москвичи были другие, не похожие на тех, кто встречался бедняге на улицах — здешние все порывались собрать ему деньги на билет домой, а узнав, что украден паспорт, принимались искать пути скорейшего восстановления документа.

— Владимир поедет на Огород и проведет там столько времени, сколько

необходимо, пока за ним не придут родные со всеми бумагами, — твердо сказала тогда Амор.

(Буйвидас прожил на Огороде почти год — была волокита со справками, потом хворала жена, потом рожала младшая невестка, потом не могли оторваться от работы сыновья...)

— Все нянчишься? — язвительно спросил носатый дядька с детским прозвищем Пуся. — Авось поможет?

Амор пристально без улыбки посмотрела на него:

— Долго объяснять.

Буйвидас смотрел на хозяина, на этого самого Колю-Бороду, в вытертых джинсах и латаной рубаше, на его руки по локоть в саже и понимал теперь, что никакой он не красивый — ну подумаешь, высоченный и бородачи... То, что так поразило Буйвидаса, когда увидел Колю первый раз, — была свобода. Свобода и есть красота, а взять ее негде, или есть она в человеке, или нет. Никогда в жизни не видел Буйвидас таких свободных людей... И надо же — в каждой закорючке, в сучке, в шишке видит этот чудака душу, жизнь, рожицу, существо, лесовика, бабку-ёжку, чертяку, кикимору, не пойми кого... Вся терраса Колиной избы была заставлена его «куклами» и завалена материалами для будущих существ.

За завтраком Буйвидаса послали в избу что-то принести, и он поразился бардаку и бедности. А еще сильнее поразился, глядя на портреты и фотографии необыкновенно красивых женщин. Так и стоял, таращился, не услышал, что вошел Борода и усмехнулся:

— Красивые? Мамочки наши...

И под пивко («надоели мне все, давай, мужик, посидим в тишине») рассказывал Буйвидасу, что смолоду был крайне охоч до бабьей красоты, но и бабы до него охочи были, однако ни одна не выдерживала безалаберности, бардака и бедности.

Семеро необыкновенно красивых детей от трех законных и трех — так... Видеться с детьми не всегда дают, спасибо, сюда на несколько дней отпускают, когда праздник... Буйвидас скумекал, что все это безудержное веселье и толпа гостей круглое лето — от крошечного одиночества. Ему стало жалко этого красивого, щедрого, веселого с виду и такого грустного, несчастливое человека. Захотелось рассказать про свои обломы с бабами, но не знал как, потому что никому никогда не рассказывал. Хотел тоже спросить, что это за огород такой и кто такая Агафья Тихоновна, но постеснялся.

— Забей, Колян, — только и смог сказать.

Когда уезжали, Борода провожал за ворота, говорил Буйвидасу:

— Оставайся тут, мужик. Какая разница, где время коротать? Доживем с тобой до белых мух, а там видно будет...

— Вы до белой горячки тут доживете, — строго сказала Амор.

— Ты, Агафья Тихоновна, как замуж за меня надумаешь — эсэмэску брось. — Борода, наклонившись, заглядывал в окошко машины, улыбался, а глаза печальные.

— На Фейсбуке запощу. Пристегивайтесь, Владимир, дорога дальняя.

И долго, долго под молчаливую (без слов) красивую музыку ехали по холмам и равнинам, мимо пустых деревень, и Буйвидас дивился красоте и заброшенности средней России, которую раньше никогда не видел, все смотрел и смотрел в окно. «Земли-то, земли сколько пропадает... А в войну, небось, столько людей за нее полегло...»

Ехать было хорошо, молчать и ехать под музыку, как будто он смотрел какое-то интересное кино про себя...

И Буйвидас никогда никому не говорил — ни про художника, ни про «Агафью Тихоновну», ни про «долго объяснять», ни про долгую дорогу под музыку. Ни в Огороде не говорил, ни потом, дома...

— Литовец? — спросил Белогнутов, услышав фамилию Буйвидаса.

— Русский, — огрызнулся тот. Привык, что докапываются. — Фамилие такое.

— А ты не стесняйся. Литовцы крутые. Это счас с гулькин нос странишка, а так-то очень крутые. Великое княжество Литовское, хоть слышал? Твои, между прочим, эти края триста лет под собой держали.

Буйвидас оглянулся, словно надеясь увидеть вокруг каких-то «своих». Своими были мужики из горячего цеха и семья. Никаких других своих быть не могло.

— А что ни слова по-литовски, не твоя вина. Предков, небось, в сороковом в теплушках за Урал командировали?

«Отвали», — чуть было не схамил по привычке Буйвидас, но вдруг не схамил. Промолчал неожиданно.

Никаких рассказов о своих предках он припомнить не мог.

Вся материна родня была русская, местная, уральская, а с отцовской стороны... Тоже русская. Только какой-то двоюродный дядя или дедушка в жилетке... В жилетке... Прадедушка, прадед... Жилетка с вышивкой... Усатый дедок откладывает в сторону короткую трубку, сажает на колени... Говорит непонятное... Ажулюкас, лапинюкас... Смеялся от этих слов, а дедок повторял...

— При Советах-то просто было, — развспоминался тем временем Белогнутов. — Купил билет за семь рублей и поездом — в Вильнюс. Хороший город. Любили мы в молодости это дело. Даже слова некоторые помню. Лабутис. Приветик, значит. Ачу — спасибо. Пянас — молоко. Ну и блины картофельные, конечно... Лучше нигде не едал.

Буйвидас озадаченно замолчал. В белобрысо-седой голове его, которая располагалась довольно далеко от земли, закружился хоровод непонятных смешных словечек и кружился несколько дней...

...Полон огород, комары жрали, заразы. Тронули за плечо. Выпрямился. Белогнутов молча протянул спрей от насекомых. За спиной у Белогнутова, подальше, в стороне от тропинки, рос любовно обложенный камушками дубок. Буйвидас завис, глядя на деревце.

Белогнутов протягивал баллончик со спреем.

Буйвидас таращился на дубок.

— Чего ты? — спросил Белогнутов. — Дубочек наш, посадили вот...

Буйвидас молча тыкал пальцем в дубок и вдруг обалдело сказал:

— Ажулюкас.

Белогнутов и Буйвидас подружились.

Контуженый спецназовец, бывший школьный учитель по ОБЖ Генварёв в семейном плане человек вполне благополучный — действующая жена и вменяемая дочь держат во Ржеве магазин нижнего белья и купальников. При каких обстоятельствах попал в Огород Генварёв — никто не знает, вероятно, однажды приехал на рыбалку, познакомился с постояльцами и с той поры ежегодно проводит на Огороде несколько месяцев, как в санатории, а то и зимой зависает на подледной рыбалке, помогает по хозяйству, следит за общественным порядком и может весьма чувствительно осадить, если кто задумает безобразничать. Жена и дочь Генварёва передают для Амор Каритас гостинцы — купальники расцветок «взбесившейся лососины» с непременноми стразами. Напутствуемые сдержанным вздохом, пляжные наряды переключаются то к молодой попадье, то к начальнице почты, в амбулаторию или к сотрудницам сельской администрации.

Генварёв никогда не говорит о войнах, горячих точках и спецоперациях. Не любит смерть. Его интересует животрепещущая жизнь — вечно он то спасет от кровожадного аиста котят, то подберет и выпестует выпавшего из гнезда щегленка, а однажды принес полную корзину избавленных от утопления щенков и подъехал к Амор с предложением взять на Огород.

Амор вздохнула.

— Ну что, хорошие мои, — сказала Амор, обращаясь не то к щенкам, не то, по своей привычке, называя во множественном числе единственного собеседника-постояльца. — Это что же у нас теперь — псарня будет?

Сама при этом вынимала щенков по одному из корзины, носом трогала мокрые щенячьи носы и улыбалась, как девочка.

— И Абырвалг у нас уже есть, и тетя Мотя...

Абырвалг был крупный кастрированный кобель, этакий шебутяга, раздудуй и бестолочь, с которым, до утраты им причиндалов, не было никакого сладу, а тетя Мотя — рыжая брехливая сучонка, ласковая и смекалистая.

— Ладно, оставим на месяцок, подкормим, придадим товарный вид, а там видно будет.

В маленькой деревянной церковке на берегу служили всегда, а в старом, огромном недоремонтированном (денег все не хватало) храме на горе в соседней деревне — по особо торжественным дням, или чохом, оптом венчали всех желающих.

Надо было видеть Генварёва, выбритого тщательнейше, отчего еще заметнее был шрам на перебитом носу, принаряженного, с корзиной щенков на крыльце храма.

— Щеночка на счастье, — командовал батюшка, Генварёв вынимал из корзины пузатого щенка, украшенного цветной ленточкой, и какой-либо нарядный ребенок лет семи передавал толстуна молодоженам.

Умиление одно, хоть плачь!

Генварёв любит жизнь, потому что только человек, любящий жизнь и ее жителей, может любить готовить и угощать.

Генварёв обожает готовить.

Но не умеет.

Готовит он зверски — плохо протушенные, полусырые свиные уши в апельсиновых корках, холодец из куриных пупков, а если суп — то просто длинная горячая трава, пахнущая рыбой. Из водорослей, что ли, скомстролил?

Все недожаренное и подгоревшее, как в школьной столовке.

Приготовление этой немислимой пищи — целый ритуал. Утром Генварёв парится в бане, наряжается в брезентовую робу, на голову натягивает резиновую купальную шапочку для гигиены, чтобы волосы не попали. Не мужчина, а персик. Без подготовки увидишь — заикой останешься.

И погружается в свою авторскую кухню.

К счастью, он принципиально готовит только на открытом огне, так что хотя бы зимой обитатели Огорода почти совсем не рискуют... А уж с апреля по октябрь, раз в месяц, будьте любезны, из мужской солидарности и чтобы не нервировать контуженого, вся огородная братия хорошенько запасается мезимом, панкреатином и прочими гастрофармами и чапает на ближний край деревни, где в бывшей школе — большой избе с двумя отдельными входами — живут Генварёв и опальный журналист Мухов.

Пришли. Уже издали пахло недожаренным и горелым. В здоровенной кастрюле, похожей больше на бельевой чан, булькал очередной дикий изыск. Большой деревянный стол под сосной Генварёв и Мухов устлали районной газетой «Пламя».

Маркович сел толсто нарезать ноздреватый серый хлеб, вкусноты неопикуемой, это Амор Каритас надоумила подкарауливать на станции хлебовозку из поселка Лесной, где в еле дышащем военном совхозе своя пекарня. Хлеб, крупная соль, зеленый лук длиной с пионера, огурцы — настоящий бобылий пир. Амор убедительно просит не пьянствовать, а выпить помаленьку не возбраняется. Почти никому уже нельзя по разным причинам.

Гомонили и потирали руки, рассаживаясь за столом под сосной, и кто-то спросил:

— А Белогнутов-то где?

— Белогнутов не придет, — сказал Мухов. — У него жена умерла.

— Дела... — покачал головой Буйвидас, и все тоже посочувствовали.

— Враки, — внес ясность Маркович. — У Белогнутова нет жены.

Маркович и Белогнутов не любили друг друга. Оба питерцы, никогда не здоровались и не разговаривали. Старейшего красавца с седыми, в синеву, кудрями, Марковича бесило в тюлене Белогнутове все — даже фамилия. Что это такое — Белогнутов? Белое — это одно, а гнутое — другое. Просто как в поговорке — не сравнивайте широкое с кислым.

— Жены у Белогнутова не может быть по определению, — сказал Маркович.

— Озвучьте, — вежливо попросил мужлан Буйвидас.

Он очень уважал Белогнутова за обширные разнообразные знания, монументальное спокойствие и неконфликтность. Под влиянием Белогнутова с Буйвидасом происходили чудесные перемены. Из хмурого, отчаявшегося бессильной злобой пролетария, заходящего, что правды нет и не будет, все равно везде и всегда облапошат, он превращался в основательного крестьянина — немногословного, спокойного, внимательного к земле. Теперь в те моменты, когда прежний Буйвидас полез бы в драку, Буйвидас нынешний, со значением глядя в глаза оппоненту, говорил вежливо и негромко:

— Не провоцируйте меня на агрессию.

Буйвидас уважал Белогнутова и теперь вежливо попросил:

— Озвучьте. Что за определение такое? Половой инвалид? Монах? Пидор? И вам все это откуда известно?

— Дорогой мой, — ласково сказал Маркович. — Вам это совершенно ни к чему.

— Кажется, что-то давнее. Какая-то стародавняя кратковременная жена. Или вообще — невеста, — поспешил уладить Мухов.

— Дьявол! — взвизгнул Маркович.

Он глубоко саданул ножом по пальцу, порезался. С причком облизнул левый указательный и поднял вверх. Текла кровь. Сходу промыли водкой. Марковичу щипало, он тряс всей левой кистью, и выражение лица у него было, как у маленького. Пока Мухов и Генварёв искали допотопный, колесиком, пластырь, заклеивали пострадавший член, улизнул Буйвидас. Пошел проведать старшего товарища, уговорить не грустить одному, посидеть со всеми — полегчает.

Наконец расселись, устаканились. Хлебали и нахваливали густое невнятное варево под рюмочку-другую. Разговаривали, как обычно, про гаишников, армейских сержантов, ожоги, ранения, жену и тещу. Про детей, у кого они водились. Мухов рассказал, как ему в восьмом классе привезли вельветовые джинсы «Рэнглер», а он продал их за шестьдесят рублей (деньжищщи!!!) и устроил для приятелей пир с коллективной потерей невинности. Генварёв рассказал, как в конце девяностых гонял в Тольятти за запчастями для «жигулей», всякий раз едва жив оставался. Анестезиолог Гриша промолчал про то, как, присланный на практику в сельскую больницу Ивановской области, каждую ночь баррикадировал двери и окна на случай нападения женщин.

Стеменело. Ни Белогнутова, ни Буйвидаса не было.

Заговорили о Белогнутове. Это бывает. Небось, сто лет назад развелись, разосрались в дымину, а теперь вот вспомнил молодость-то, и кажется, что ангел, а не девушка... Задумались каждый о своем, примолкли. Стало слышно, что играет радио. Загрустили что-то. У Мухова подозрительно покраснел нос и заблестели глаза. Мало ли отчего может прослезиться взрослый одинокий мужчина? Рюмочка, запах близкой осени, красный осиновый лист на черной воде в дождевой бочке, трогательная мелодия попсовой песенки...

— У меня тост! — Мухов встал. — Все хорошо, — сказал он и увлажненными глазами оглядел своих товарищей. — Нам очень повезло, что мы попали сюда, на Огород. Надо просто ценить то, что дают, радоваться каждой минуте. Жизнь удивительно

хороша, и еще столько всего важного можно и нужно сделать. Будем жить, будем трудиться, надеяться и мечтать, а если вдруг чума или ядерная катастрофа — Генварёв научит нас, как выжить, и мы будем жить дальше, и любовь и счастье найдут нас.

Загомонили, потянулись чокаться, Генварёв пообещал научить...

Выпили, помолчали каждый о своем и решили прогуляться, заодно навестить Белогнутова, поддержать, так сказать, в минуту печали. Взяли фонарики и пошли в теплой темноте по траве и песку. Маркович по пути молча свернул к себе. Навстречу гуляла местная молодежь, и кто-то, сильно акая, пересказывал фильм Джармуша «Ночь на Земле».

В этих краях здорово акают. Аканье заразительно. Даже Буйвидас со своей уральской скороговоркой начал как-то приакивать. Еще в этих краях строят сараи с террасами. Местное ноу-хау. Вдоль длинной стены сарая на южной стороне делают навес, под ним — пространство с грубым дощатым полом и веревки, чтобы сушить травы, кто в них понимает, или белье.

В таком сарае с террасой и двумя маленькими окошками — торцевым и боковым — и постояльствовал Белогнутов. Окошко светилось. Все пришли и неловко толклись у двери, глядя на стены, плотно оклеенные всевозможными картами далеких стран и городов, в существование которых слабо верилось.

В сарае сидел на топчане и лил слезы над своим выдуманным ангелом Белогнутов без очков, а домовитый Буйвидас у электроплитки шумно ворошил в сковороде картошку на сале и приговаривал, что вот сейчас мы картошечки поедим, чайку с травками заварим, и жизнь наладится, и все еще впереди...

Утром Маркович пришел к Белогнутову. Дверь была открыта.

В глубине сарая, у торцевого окошка, Белогнутов возился на широком подоконнике с чем-то мелким. Близорукие любят кропотливое.

Согласно деревенской этике, ломиться в открытую дверь не годилось, следовало постучать в косяк. Маркович постоял, разглядывая толстые доски и потрескавшийся дерматин, уже нацелил было костяшки правой руки на косяк, но Белогнутов, не поворачиваясь, буднично и негромко спросил:

— Чего тебе, Морковка?

И это были первые слова, которые Белогнутов сказал Марковичу спустя сорок с лишним лет.

Маркович, престарелый ловелас, вальяжный, измеряющий время в женах («три жены тому назад»), робел, пока шел от своей избушки к сараю Белогнутова. Робел, потому что боялся разговора, боялся раскиснуть, размякнуть душой, но и жаждал этого раскисания. Теперь же, когда Белогнутов назвал его детским прозвищем, раскисание начало сбываться.

— Знал ты, что я к тебе приду? Знал? — шепотом, почти нежно, спросил он в широкую сутулую спину в клетчатой рубашке.

Белогнутов неопределенно повел плечами и продолжал, не оборачиваясь, возиться с мелкими железяками.

Маркович готовился обняться и поплакать вместе над тем, что жизнь, которую в молодости они жили наперегонки, прошла; девушка, серьезно любимая Белогнутовым и безумно влюбленная в Марковича, умерла, предварительно превратившись в бабушку; все пролетело мигом, «как взмах ресниц», а оба соперника встретились в непонятном деревенском приюте для одиноких мужиков.

— Отчего она умерла? — спросил Маркович.

— Надо полагать, от смерти, — спокойно ответил Белогнутов и помолчал. — А смерть наступила от рака желудка. Умерла в Канаде, в хорошей клинике, в окружении детей и внуков, так что не переживай.

Надо было уходить. Глупо стоять так. Рядом с дверью в сарай росло много лесной

малины, она так и лезла в сарай, словно страшилась близких холодов. Кончалось лето, последние, перезрелые, темные ягоды осыпались на траву. Маркович подобрал ягоду, съел и придумал узнать у Белогнутова, как он здесь оказался. Как, дескать, дошел ты, дружище, до жизни такой, полюбопытствовать бодрым голосом, но Белогнутов спросил первым, по-прежнему равнодушно, не оборачиваясь:

— Турнули детишки-то?

Имея в виду нескольких разбросанных по свету детей Марковича, которым до него не было никакого дела, как, впрочем, раньше и папе не было до них. У Марковича и Белогнутова было много общих знакомых, и какие-то слухи о жизни одного недруга то и дело доходили до другого.

Внутри Марковича поднялось знакомое, молодое чувство, как тогда, как прежде, когда Белогнутов начинал его дразнить.

— Ремонт, — вздохнул Маркович. — Капитальный. Две квартиры купил, теперь соединяю. Югославы возятся... Ленивые, дети юга... Конца-края не видно... А санатории все эти осточертели, да и туризм тоже... Я, знаешь, Андрюша, люблю простой деревенский отдых. Милое дело. Как выдастся свободная неделя — за руль и по малым городам России. Да что города! Знаешь, сколько у нас в средней полосе поселков, всех этих «Красный Май», «Октябрьский», «Лесное», где нет вообще ничего, а у женщин глаза, как у бездомных дворняжек? Я их так и называю — Найды. Найды вы мои...

— Мудак ты, Леня, — равнодушно сказал Белогнутов, встал и взял с полки потертый тощий бумажник. — Пошли, помянем.

Маркович и Белогнутов пришли на станцию. Лето кончалось, но было еще очень тепло, и окружающий мир только и ждал, как бы услужить желающим выпить на природе. Какие-то просторные пеньки, или заботливо сложенные и позабытые, потемневшие бревна, или приступочки, ступеньки, мостки у ручья, неходячий «жигулёнок» с удобным, как стол, капотом — все словно шептало: «Присядь, дружок, выпей на травке, погрейся на солнышке, сливу, сливу с ветки сними, сорви с грядки огурец...»

Маркович и Белогнутов пили водку на мостках у ручья за почтой, закусывали колбасой и хлебом. Маркович расчувствовался, слюняво целовал Белогнутова, просил прощения и клялся, что ничего не было — он увел невесту Белогнутова прямо из загса, и они всю короткую белую ночь гуляли по городу и разговаривали. Маркович объяснял невесте, что не любит ее и никогда не полюбит, а выходить замуж от отчаяния за нелюбимого в двадцать-то лет — рано и вообще глупо; с Белогнутовым, педантом и занудой, она быстро заскучает и, порядочная, из хорошей семьи, будет всю жизнь честно тянуть невыносимо тоскливую лямку, испортит себе жизнь, а он, Леня Маркович, уже осознал свою крайнюю блудливость и не может жениться на такой девушке, чтобы тоже не испортить ей жизнь. Погоди, милая, говорил он, пройдет время, все у всех наладится, мы будем прекрасно общаться, дружить тремя семьями, собираться и петь под гитару песни Визбора. На том и расстались и не виделись больше никогда...

— Ведь я нарочно попросился при распределении на Север. Какой ты молодец, Андрюша, что нашел ее в соцсетях. Она на меня не обижалась? Не обижалась, точно? Она точно хорошо вышла замуж? Умерла в Канаде? Точно? Ты не врешь? А то, что я тут с тобой не дружил и нос воротил, так это потому, что вину свою большую чувствовал, всю жизнь чувствовал... Я когда тебя здесь увидел... Весь валемидин потом ночью выхлебал... Я ведь сперва чуть ли не спасителем каким-то себя возмнил... А уж потом... С каждым годом все поганее вспоминать было... Вершитель судеб хренов... Эх, Андрюша...

Последнее августовское тепло, мотыльки, дворняжки, весело матерящиеся у магазина дети и мысли о том, что скоро помирать, умиляли, наполняли пьяного Марковича сладостной печалью.

Маркович расплакался по-настоящему, и Белогнутов приобнял его, протянул большой, как кухонное полотенце, носовой платок с картой мира...

Два крепко подвыпивших пред-старика возвращались в Огород, поддерживая друг друга. У двора, где сарайчик Белогнутова, остановились.

— Ладно, — неожиданно трезво сказал Белогнутов и вместо объятий протянул Марковичу руку. — Хорошо, что поговорили. Но ты, Морковка, в гости ко мне не ходи и ничего там себе не фантазируй. Обижаться не обижаюсь, но дружить с тобой не хочу.

Город Долгие Холмы
Улица Ленина дом 7 квартира 17

Stoby Winery Makedonsko Crveno
Вино защищенного географического указания
(что за мура еще?)
Региона Тиквеш красное полусухое
1 liter 11% vol

А фотографировать бутылку, этикетку, перед тем как выпить, — не мура, не бред?
Ну ладно, это все так, проверка связи...

С чего начать? В детстве мне очень хотелось разговаривать. С кем-то поговорить. С кем-то взрослым, но умным и хорошим, кто выслушает и поймет. И я говорила скороговоркой, боясь, что перебыют или отвернутся, зная, что ничего никому не интересно.

(Двойное, даже тройное отрицание, возможное в русском, но недопустимое в английском языке.) My mom was an English teacher... В детстве нестерпимо хотелось поговорить, рассказать...

Теперь от меня просто исходит молчание, как холод от промерзшей, еще не укрытой снегом земли в ноябре.

С чего же начать?

С чего начать, когда пора кончать, ха-ха-ха...

Амор Каритас видела из окна поворот реки, деревья городского парка и колесо обозрения. Помолчала. Диктофон записывал молчание. Амор выпила вина и заговорила:

— Да, дело к занавесу. Я не кокетничаю, но после моей смерти может возникнуть путаница, пойдут кривотолки, особенно вокруг моего огородашки. Так я называю этот приют, передержку для мужчин в кризисной ситуации. Как, почему и зачем я в это ввязалась?

Долго объяснять. Долго объяснять, с чего начать, пора кончать...

Околоток, детство, Москва. Снаружи родной околоток весьма респектабелен — близость театров, до Кремля пятнадцать минут пешком, желтая твердыня Петровки, 38, английская школа на задах большого дома для дипломатических работников. Но внутри, поглубже, в проходных дворах между Цветным и Садовым, в путанице переулков Самотёки, где «угловые»... Раньше были непременно «угловые», мутные, пахнущие пивом магазины. Там всегда соображали «на троих», а потом двое били одного, обычно очкастого задохлика... Однажды на ступеньках «углового» сидел алкаш из сословия грузчиков или подсобных рабочих, в сатиновом халате на голое тело, и горько, горько плакал, а покупатели ходили туда-сюда, спотыкаясь о его тщедушность. Старик или мальчик? Сожгли голубятню, единственную отраду состарившегося, одинокого мальчишки, в жизни которого ничего не сбылось и не произошло. «После школы — домой, нечего болтаться там», — говорила моя строгая мама. «Там» — в колтунах переулков, в проходных дворах, выводящих к Центральному рынку, к Цветному... «Там», где можно увидеть что-то не то, не положенное домашней девочке, школьнице, маменькиной дочке... И все равно — неположенное лезло в глаза, резало

слух матерным визгом тетки, гонявшей примостившихся под старым вязом дворовых выпивох...

Был дворник татарин с перебитым носом и хроническим фингалом под глазом, его мелкая дворняжка умела плясать на задних лапках, и до чего же утешительно после какой-нибудь «пары» по алгебре-геометрии, после унижения у коричневой классной доски встретить татарина с собачонкой, дать ей кусок сдобной булочки и радоваться, смотреть, как потешно перебирает лапками дворняжка и как ласково глядит на нее хозяин... И еще... Чей-то переезд из дома возле лесенки к центральному рынку, пожитки и мебель уже на улице, ранний март или поздний февраль, сырое московское небо, и двое пытаются прихватиться как-то, чтобы сдвинуть с места старый, облезлый рояль. Эти двое — не грузчики, они доброхоты, надеющиеся сколотить на бутылку, но оба так иссосаны пьянством, что не хватает общих сил сдвинуть несчастный инструмент ни на сантиметр, падает мокрый снег, и один из двоих бедолаг начинает играть на рояле грязными, израненными пальцами изумительной красоты, играть какую-то невероятную музыку под мокрым февральским снегом... Долговязая девочка с ранцем и холщовым мешком для «сменки» слушает, смотрит и преждевременно рано выносит пугающую жалость...

Нет, не то, ерунда какая-то... Да, жалость к пьяницам, ведь у каждого — тайна, обманутая надежда, несбывшаяся мечта...

Жалость к пьяницам и вообще к мужчинам, но нет, нет, не оттуда началось...

Амор хмурилась. Диктофон записывал молчание.

Зазвонил мобильный.

Амор остановила запись.

Звонили из сельской администрации. «Огородник» Мухов учинил дебош на ярмарке.

Каждую среду возле станции, на специально отведенном месте, разворачивалась ярмарка продовольственных и промышленных товаров — продукты, бакалея, мыло, удочки, пустые банки и крышки, свежие ягоды и живая рыба, грибы и отменные трусы. На машине с белорусскими номерами привозили сыр.

Сыр!

Мухов окончил факультет журналистики московского университета, был распределен в многотиражку Останкинского молочного комбината и очень увлекся историей советского сыроделия. Его заметки о сырах попали в «Вечернюю Москву»! Мухов стал получать командировки по лучшим сырным цехам необъятной родины. Однажды под Новый год для этого любимого москвичами органа печати Мухов написал вот такую статью.

СТАТЬЯ МУХОВА О РУССКОМ КАМАМБЕРЕ

Трудовыми подарками встречают наступающий Новый год работники Останкинского молочного комбината! На сей раз столы москвичей и гостей белокаменной украсятся сырами мягких сортов — рокфором и камамбером.

Существует достаточно большое разнообразие мягких сыров отечественного производства. Наиболее известными являются Смоленский, Дорогобужский, Медынский и другие.

Рокфор среди мягких сыров занимает особое место — те, кто встречаются с ним в первый раз, смотрят на сыр недоверчиво. Подозрение вызывают бело-голубые прожилки плесени на поверхности сыра.

Между тем таковы особенности классической технологии выделки рокфора: в определенный момент в сырную массу вносят культуру плесени *penicillium roqueforti*. При этом головку сыра прокалывают во многих местах иглами, потому что плесень хорошо развивается лишь при доступе воздуха. По мере развития внутри сыра именно

плесень придает ему необычный, изысканный и сильный вкус, наряду с характерной мраморно-голубой поверхностью.

Так что не следует опасаться плесени рокфора. Напротив, отсутствие ее означает, что сыр незрел и пока не обладает необходимыми качествами.

Несомненно, рокфор — один из вкуснейших сыров. К тому же он улучшает пищеварение и возбуждает аппетит.

Чтобы привыкнуть к рокфору и стать его ценителем, необходимо некоторое время. Примерно так же происходит с оливками и маслинами — надо отведать их несколько раз, чтобы вникнуть в солоновато-горький вкус.

Ломтики рокфора рекомендуется подавать в качестве холодной закуски перед обедом и ужином. Сыр очень хорош к сухим винам и пиву.

Что же касается камамбера, то приходится признать, что все попытки работников Останкинского комбината возобновить его производство не увенчались успехом. Секрет выделки знаменитого русского камамбера безнадежно утрачен, и многочисленные экспедиции сыроделов, историков и журналистов, неоднократно снаряжавшиеся в заброшенную сыроварню помещика Мышляткина в Ярославской области, таинственным образом исчезли навсегда-навсегда...

Был восемьдесят седьмой год. Гласность набирала обороты. Начальству очень понравилось, что молодой журналист не мямлит вяло — дескать, имеются отдельные недостатки в производстве русского камамбера, а бескомпромиссно рубит с плеча — секрет утрачен, елки-палки!

Начался стремительный карьерный рост Мухова, он стал золотым пером отечественного пищевого прома и командировался теперь не только в сырные, но и в колбасные цеха. (Знакомства в цехах оченьгодились ему в самом конце восьмидесятых и начале девяностых, когда в стране стоял если не буквальный голод, то крошечный дефицит всего.) Другой бы сделался на этой почве предпринимателем-кооператором-бизнесменом, но Мухов оставался журналистом, верным рыцарем и золотым пером, борцом за русский камамбер. За годы гуманитарной помощи и дружбы с Западом родные сыровары изрядно подрастерялись, и, когда грянули санкции и ответные санкции, а на прилавках появились невнятные брусочки не пойми чего с надписью «сырный продукт категории "В"», у Мухова просто сорвало крышу. Он ходил по «Пятерочкам» и «Дикси» и кричал покупателям бумажных сосисок и мылоподобного сыра:

— Люди, остановитесь!

Писал в инстанции. Затеивал петиции. Ездил на частные сыроварни, дегустировал и неизменно оставался расстроен. Секрет русского камамбера был утрачен безвозвратно. Изрядно осточертев родным и близким, чокнутый на сыре Мухов оказался в Огороде.

И сегодня на ярмарке, понадеявшись на белорусский камамбер и перепробовав все что можно, разорался, с тупым отчаянием повторяя «мыло» и «мыловары», скидывал сыр с прилавка, чем нарушил общественный порядок и травмировал добрососедские отношения с братским народом. (До Беларуси в этих краях было меньше ста километров.) Белорусы не сказали Мухову, что расстраиваться не стоит — сыр польский, контрабандный, и хрен бы с ним, а просто взяли Мухова за грудки и профилактически как следует потрясли.

— Валерий, держите себя в руках, — строго попросила Амор Каритас, когда везла пострадавшего сырного рыцаря от здания сельской администрации в Огород. — Вы не один, в конце-то концов. Несколько происшествий, и Огород будет расформирован. А среди постояльцев есть люди, которым действительно некуда идти. Или придется расстаться лично с вами. Как с Калидакиным в прошлом году.

Мухов дико виноватился и от этого пытался наезжать.

— А что я сделал? — по-мальчишески, как школьник перед учительницей,

огрызнулся Мухов. — Калидакин девчонку с трассы привел, так еще и... ни с кем не познакомил, жухала... Вы турнули, а он только человеком становиться начал. Водку отучился котом занюхивать...

— Калидакин перенес две белые горячки, он фактически умственный инвалид. А вы — интеллигентный человек, мастер слова...

Мастер слова сердито хохлился и смотрел в окошко.

Пошел слух, что в следующую субботу повезут на танцы. Ну что значит — повезут? Видно, попросил кто-то, подплыл вежливо — скучновато живем, нам бы на культурное мероприятие... А кто попросил, кто придумал ехать на танцы — непонятно. Никто не сознавался. Грешили на Марковича. Словом, в субботу Огород выезжает на танцы, на вечер «Кому за...», в поселок Октябрьский, в дом культуры камвольной фабрики. Все шутили друг над другом, изо всех сил притворяясь, что на фиг им эти танцы, делать, что ли, больше нечего, ерунда какая-то, но всем стало интересно и весело, как в молодости, и возникла очередь на утюг и гладильную доску.

«Мы едем на танцы!!!»

Маркович сказал, что в Тунисе есть такой обычай — если хочешь с кем-то познакомиться, вставляешь цветок в петлицу пиджака или за ухо, как сигарету. Это знак, что мужчина в свободном поиске. Буйвидас давай плевать, что это пидорский обычай. Маркович сказал Буйвидасу — вам, милый друг, конечно, виднее, что пидорское, а что нет... Буйвидас сказал — «не понял...» Так сказал, что Белогнутов поскорее встал между Марковичем и Буйвидасом, приговаривая «тихо-тихо-тихо». Мухов и Царевнин договаривались посмотреть у Царевнина шмотки, ведь Царевнин попал в Огород с чемоданчиком приличных вещей... А Генварёв спросил с неожиданными для контуженого спецназовца здравомыслием и язвительностью:

— Вы там как танцевать собираетесь?

— Ногами, — остроумно ответил Буйвидас.

— Ага, — кивнул Генварёв. — Ты, братела, когда последний раз танцевал? В прошлом веке?

Все приумолкли. И правда, ДК камвольной фабрики — это тебе не жук чихнул, не дискотека для чикильдеев при сельской администрации — придут серьезные женщины с самыми лучезарными надеждами, а «Огородники» лицом, значит, в грязь?

— А этот на что? — сообразил вдруг Буйвидас. — Эбанат кальция?

И Белогнутов погрозил ему пальцем. Белогнутов запрещал Буйвидасу пренебрежительно говорить об Июнькине, хоть в глаза, хоть за глаза. «Он много горя повидал, — говорил Белогнутов. — Надо уважать его за страдания».

— Это я любя, — поспешил исправиться Буйвидас. — Ну он же по части танцев нормально волочет? Пусть подучит маленько. Вальс там, все такое...

Вечером на общую террасу вынесли старый большой кассетник и колонку. Июнькин велел мужикам разбиться на пары. Начался дикий ржач. Когда вдоволь поржали, Мухов предложил, что Июнькин будет представлять — один танцевать со всеми женщинами в ДК камвольной фабрики, а прочие обитатели Огорода просто познакомятся.

— А если белый танец? — напугал Генварёв.

— Да, — сказал Июнькин. — Во-первых, есть большая вероятность белого танца. А во-вторых, я не поеду. Мне не надо ни с кем знакомиться.

Никто даже не удивился и уговаривать не стал — все знали, что Июнькин любит озеро, оно среднего рода, не мужик и не баба, не будет мучить, не пошлет ни на базар, ни в людей стрелять, сдачу проверять не станет и под трибунал не отдаст...

Июнькин включил музыку — вальс из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». Мужики построились парами, лицом к лесу, Июнькин встал перед ними, лицом к воротам.

— Плечи расправили, головы подняли, слушаем музыку, смотрим на меня и думаем о хорошем. Молодой человек, вы к кому?

Все обернулись. В воротах стоял светловолосый, синеглазый красавец баскетбольного роста.

— Батя, ты че, танцуешь?

— Володька? — не поверил глазам Буйвидас.

Оба заорали от радости и стали обниматься, а все смотрели, и играл вальс.

Наверное, когда-то таким прекрасным, пышущим душевным и физическим здоровьем был и сам Буйвидас, пока тяжелый безотрадный труд, выпивка и общая пришибленность несправедливостями жизни не превратили его в долговязого сутулого барбоса.

Сын привез документы, по которым папаша мог приобрести билет на родину. Буйвидас желал ехать немедленно. Послали за Амор Каритас. Сын фотографировал Огород и обитателей и объяснял, что мать, жена Буйвидаса, мамаша Буйвидас, велела ему нагрянуть без предупреждения, застать врасплох этот непонятный приют, мужской монастырь, в котором, конечно же, черт-те что творится...

Прощался Буйвидас со всеми наскоро, только Белогнутова крепко обнял, а Амор поклонился и неловко поцеловал руку.

Вышли за ворота и пошли вдвоем в сторону станции. Отец и сын. Разговаривали и смеялись.

Царевнин смотрел им вслед.

Смотрел и смотрел им вслед.

Несестра подошла, глядя в сторону, как бы случайно дотронулась до плеча, словно погладила, утешая...

Царевнин шагал в цивилизацию проверять почту и уже в конце пути, возле церкви, где вечно шел ремонт и визжали пилы, увидел Несестру — она бегло разговаривала на пальцах с молодым слабослышащим плотником с тощей бородой. Царевнин поздоровался, и она мимолетно кивнула в ответ... Но едва прошел с десяток шагов, услышал — окликнула по имени. Пошли навстречу друг другу.

— Здравствуйте! — она протянула руку еще издали. Любит здороваться за руку. — Как вы? Всё в порядке?

В порядке ничего не могло быть в принципе. Но бывало ведь и похуже.

— Спасибо, все хорошо, — сказал, чтобы не «грузить».

Она пристально смотрела на него.

— Продвинулись вы как-то? Нашли его?

— Нет, — Царевнин замялся, и Несестра с досадой стукнула кулаком воздух.

— То есть я кое-что выяснил, где его можно найти... Но еще не связывался... Думал, потом, после...

— Потом, милый мой, не бывает. Никакого «потом» нет на свете. Потом — это непоправимая горечь и ничего больше. Он в Москве или где? — строго спросила она.

— В Москве.

— Уже хорошо. А ведь мог бы вообще оказаться... Где-то там... не знаю где, и по-русски не понимать...

Она нахмурилась.

Помолчали.

— Послушайте, — она строго посмотрела на него. — Вы готовы сегодня уехать в Москву? Ведь вы из Москвы? Или нет? Есть где остановиться?

— Да... Нет... Я жил с подругой, у подруги, но это больше невозможно... Да найду я где остановиться! — вдруг решительно сказал он. Решимость и желание действовать

словно дремали в нем где-то, а теперь проснулись, расправили плечи и сказали: «Эй, а ну-ка быстро!»

— Сейчас поедem в Огород, соберете манатки, и я отвезу вас на поезд в Холмы.

Именно так, с ударением на «О», назывался районный центр Долгие Холмы, второй, между прочим, город в губернии по величине, с троллейбусами и многоэтажками. Поезда на Москву оттуда ходили хорошие, быстрые.

— Странная все же у вас фамилия, — сказала Несестра, пока тряслись по грунтовке до трассы. — Откуда вы? Ваши предки? Не знаете?

— Из Грузии. То есть, прадед и прабабка откуда-то переехали в конце двадцатых, кажется... Родили дедушку. Дедушка попрос и поехал покорять целину. Отец родился уже в Саратовской области. Совхоз «Декабрист». И я там родился. А когда мне было лет десять, знаете, были такие комиссии, ездили по всей стране, собирали одаренных детей... Меня тоже отобрали учиться в Москве, в интернате... Ужасно скучал по дому, по родителям и младшему брату, а потом приезжал и... С каждым годом мучился все сильнее — очень любил их, а говорить не о чем...

— Переехали в Грузию в конце двадцатых, — повторила Несестра.

— Бабушка с дедом знали по-грузински, любили грузинскую кухню, меня в шутку учили грузинской азбуке и словам... Когда я попрос, стал на них обижаться. И далась, типа, вам эта целина! Сидели бы себе под Тбилиси... Потому что, знаете, когда попадаешь в московскую среду всяких таких вот подростков, молодежи... «Я из Тбилиси» звучит гораздо лучше, чем «Я из совхоза "Декабрист"».

— Времени нет! — вдруг громко и даже сердито сказала Несестра, и Царевнин чуть было не замаха л руками — мол, если нет времени у вас, то и не надо меня никуда везти, прекрасно доберусь на перекладных, но она продолжила о чем-то своем:

— Есть один огромный, затянувшийся миг, понимаете? Все здесь, рядом. Все и всё...

Когда ехали по городу до вокзала, Царевнин смотрел на дома, троллейбусы и рекламные щиты и чувствовал, что соскучился по большому городу.

— Ну, в добрый час! А если что, всегда можете вернуться. Огородничать.

— Спасибо вам!

Крепко пожали друг другу руки.

Он открыл было дверцу и услышал:

— Куда? А пунькаться на прощание?

Взяла за рукав куртки и легонько потянула к себе.

«Целоваться, что ли?» — молча растерялся Царевнин.

А она кончиком носа несколько раз потрогала кончик его носа и сказала серьезно:

— С вами хорошо пунькаться. У вас окончание носа круглое. Удобно.

«Вот кто реальный эбанат!» — подумал Царевнин. Подумал радостно, даже восхищенно, почти с нежностью, и тут же этого испугался.

— Вот, — сказала она. — Теперь идите.

— Можно спросить?

Она кивнула.

— Зачем вам это?

— Пунькаться? — безоблачно уточнила она, и он увидел, что она прекрасно поняла, о чем он спрашивает. И она увидела, что он заметил, что она поняла.

Пожала плечами и улыбнулась грустно:

— Долго объяснять.

Рано утром Царевнин уже был в Москве.